

Три книги для медленного чтения

Современнику, как бы он ни был начитан в отечественной литературе, трудно угадать, какие именно тексты, входящие ныне в культурный обиход, войдут в расширенный контекст литературной традиции. Мандат, выданный актуальной критикой, далеко не всегда признается действительным при перемене критериев актуальности. И всё же некоторые книги, так или иначе репрезентирующие поэтику и проблематику настоящего времени, могут с должным и достаточным основанием номинироваться культурной средой на значение, превышающее потребности нынешнего дня.

Наверное, безусловным лидером в ряду непосредственных претендентов на долгую и счастливую жизнь в искусстве является роман Евгения Водолазкина «Лавр», уже вскоре после выхода (2012) получивший всероссийское и международное признание. А далее под подозрением в серьезности намерений оказывается еще ряд текстов, которые без различия жанровых особенностей могут быть названы книгами для медленного чтения. И хотя у разных критиков порядок имен и номенклатура названий может различаться, есть книги, приоритет которых уже определился. Всё, что следует ниже, не столько запоздалые рецензии, сколько замедленные рефлексии — попытка вдуматься в эти избранные книги.

Пена дней из кипящего чана

Алексей Варламов. «Мысленный волк»

Если одной фразой аннотировать содержание романа Алексея Варламова, можно сказать так: это книга о том, как сто лет назад не стало России. Не стало так странно и страшно, что никто до сих пор понять не может — что же все-таки

случилось... При том, что это в той же мере *неисторический* роман, как и «Лавр» Евгения Водолазкина. Эти книги роднит особое отношение к историческому материалу: переживание непреходящего прошлого как обретение недостающего настоящего.

Алексей Варламов как никто другой воплощает в нашем времени классическую традицию отечественной литературы, не соблазненную доступной прелестью постмодернизма и не пораженную старческой немощью архаизма. Следуя своим принципам и своим интуициям, Варламов не стремится вписаться в формат. Как литератор он учится у тех, кого изучает как литературовед. И в то же время он понимает и принимает главное условие творчества: чтобы быть таким, как предшественники, надо быть иным. Он — иной.

Долгие годы целенаправленно работая над материалами по истории русской литературы первой половины прошлого века, Варламов накопил в себе критическую массу знаний, в которой началась цепная реакция понимания. Автор жизнеописаний Александра Грина, Михаила Пришвина, Михаила Булгакова, Андрея Платонова, Алексея Толстого и (что неожиданно, но логично) Григория Распутина обнаруживал в своих персонажах нечто большее, чем могли вместить их биографии. В чертах личности проступали контуры эпохи. Это требовало смены оптики. И вот — как замковый камень в своде — роман о русской катастрофе. Глубоко документированная феерия и хорошо темперированная фантазмагория, энциклопедия великой русской смуты: ее страстей и ересей, маний и фобий, парений и падений: р о м а н - а п о к р и ф.

В фабулу романа как бы заложена карта-схема силовых линий незримого магнитного поля, по которым выстраивались судьбы людей рубежной эпохи. Основное действие укладывается в период с 1914 по 1918 год. Роман сработан мастерски: проза начинается с языка, из которого возрастают образы, связанные сложными отношениями, а вокруг событий их жизни сгущается таинственная атмосфера, в которой проступает эсхатологическая перспектива эпохи. Невероятное так сопряжено с достоверным, а тайное с явным, что разъять образ минувшего на факты и фикции, не разрушив целого, уже невозможно.

И хотя Алексей Варламов с самого начала своей творческой биографии заражен нормальным классицизмом, эта книга входит в зону действия магического реализма — особенно если вести родословие жанра не от мифотворца Маркеса, а от мифомана Маркса. Идеология есть девиация религии, ее обезбоженная форма, и опыт российской катастрофы в этом разрезе — сеанс черной магии в национальном масштабе. Призрак бродит по Европе... мысленный волк! апокалиптический зверь, извращенным образом проникший в коллективное подсознательное российского общества.

Заглавие книги, согласно Сигизмунду Кржижановскому, есть словосочетание, которое «вправе выдавать себя за главное книги <...> книга и есть — развернутое до конца заглавие, заглавие же — стянутая до объема двух-трех слов книга».¹ Вот как объясняет Алексей Варламов заглавие своего романа: «Словосочетание “мысленный волк” восходит к одной из древних православных молитв, составленной Иоанном Златоустом, которая читается накануне святого причащения. Помню, когда я впервые прочел эту молитву — она меня поразила лексически, поразила художественно. Там есть такие слова: “да не <...> от мысленного волка звероуловлен буду”. Сам строй этой фразы проник в мое сознание, и я стал думать, что это такое, почему *звероуловлен*, кто такой “мысленный волк”. Чем дольше я над этим размышлял, тем больше проявлялся этот волк в моем романе...».²

Мистическая эманация, пронизывающая роман, снимает вопрос о достоверности событий, связанных сюжетом. Хотя едва ли не каждому персонажу соответствуют прототипы, один или несколько. Так в литературе по имени Павел Легкобытов синтезируются обстоятельства жизни сектанта Павла Легкобытова и писателя Михаила Пришвина. Так в образе Савелия Круда сводятся приметы реального писателя Александра Грина и предметы его романтических кошмаров. В то же время человеческий парадокс Василия Розанова (в романе — Р-в) представлен в биографической конкретности и психологической реальности. В процессе чтения можно сверять течение сюжета с хроникой эпохи, но разбирать досконально, что извлечено из документов, а что привнесено воображением, совсем не обязательно, — лучше положиться на свое чутье и довериться интуиции автора.

Особую, до конца не ясную роль в романе играет *дядя Том*, он же *старец Фома*; прототипом образа стал Владимир Бонч-Бруевич, большевистский агент в сектантском подполье, с победой революции — управделами Совнаркома. Это своего рода двойник и противник Григория Распутина, в романе не названного по имени, но наделенного сложным значением. Словно святой черт и падший ангел схватились за душу России и рвут ее на части...

Сложность сюжета не подлежит изложению. Пересказать роман — всё равно что насвистать симфонию. Семантика романа самоценна и самодостаточна. Конечно, в действительности всё было не так, как представлено в книге. Но ведь и на самом деле всё было не так, как в свидетельствах современников, которые опровергают друг друга. Когда умозрительное становится очевидным, а обыденное недоступным, репрессированная

¹ Сигизмунд Кржижановский. «Поэтика заглавий».

² <http://www.biblio-globus.ru/history>.

реальность теряет внутренние критерии. Сущее мреет, брезжит, грезится, блазнится, мерещится, мстится... Всё не то, чем кажется. В словах не осталось смысла. Для героя не стало долга. «Его жизнь обесценилась так же, как обесценивалось множество вещей. И в этом была суть революции — она не просто переворачивала людей, их право на достоинство, честь, совесть, имущество, она переворачивала смыслы, бросала их в грязный пенный чан и вываривала до бессодержательности». Опереться не на что, спастись нигде. Как и когда идеологический дискурс переходит в параноидальный бред, а революционная литургия становится террористической оргией, — определить никто не может. Мысленный волк не попадает в капкан логики.

Напряжение сюжета переходит не от события к событию, а из одного сознания в другое. Словно вслед охотнику, выслеживающему в ментальных дебрях мысленного волка, читатель идет сквозь череду миражей, которые персонажи романа до поры до времени считают своей жизнью. Реальность исподволь проникается колдовским мороком. Гипнотическое обаяние темных чар претворяется в наваждение. Душа выматывается в напрасных борениях, — пока не останется ни цели, ни силы, ни воли.

Другая семиотическая линия книги — развернутая метафора *кипящего чана*. Образ опрощения, символ вырожденного народничества, впавшего в мистицизм, заимствован из русской сказки: бросишься в клокочущую стихию по доброй воле — выйдешь преображенным для лучшей жизни. Пади, чтобы возвыситься: когда всё грешное растратится и растворится, дух живой, испытанный отречением от своей воли, освободится от терзаний разума и мучений плоти. О, это головокружение на краю бездны... велик соблазн! на то он и соблазн. Харизматический лидер убеждает довериться ему и отказаться от себя. И не бояться преступить черту: «Только тот, кто познает грех и страсть, познает подлинную святость. Вы пришли сюда за добром, но сначала бросьтесь в чан кипящий, выпейте до дна чашу зла и станьте так же искушены и неуязвимы для него, как я».

Это логика религиозных изуверов. Но разве не так же радикальные революционеры увлекали нацию в кровавую купель — обещая воскресение в царстве любви и справедливости? И ведь увлекли же! «Переход в социализм и, значит, в полный атеизм совершился у мужиков, у солдат до того легко, точно в баню сходили и окатились новой водой...».³ Раскрещение Руси как банька по-черному — с оргиями и угарами. Краснобаи и лжепророки, сектанты и студенты, богоискатели и богоборцы, просветители и мракобесы, путаники и параноики, оборотни и двойники — все так или иначе пропали в прорве котла. Кто решился, сам сига-

³ Василий Розанов. «Апокалипсис нашего времени».

нул, и так сгинул; кто не хотел, того столкнули, и каждый растворился во всех. Когда пространство внутри горизонта превращается в кипящий чан, спасение может явиться только как чудо.

* * *

Это проза без героя, но героиня в ней есть. Девочка Уля, девочка-мечта, которой не дали сбыться. Она могла летать и могла любить. Ни то, ни другое ей не было суждено. С ней стало то, что происходит со всеми грезами, не сумевшими приспособиться к действительности. В какой-то мере и в своем роде нечто подобное случилось с каждым из нас.

Рационального изъяснения русская история не имеет. Простите за избитую мудрость, — умом Россию не понять. А должно ли это нас обескураживать или обнадеживать — Бог весть. Надо подождать еще лет сто...

Как сказал современный исследователь связей эсхатологического сектанства и революционного народничества, — «В истории, однако, мифы работают эффективнее правды».⁴ И конец одной мифологии становится началом другой.

«Мысленный волк» Алексея Варламова, типологически сходный со «Степным волком» Германа Гессе, может стать своевременным аргументом в современной рефлексии общественного сознания, изживающего национальное самодовольство и национальное самоедство.

Алексей Варламов в темных подвалах новейшей истории обнаружил что-то очень важное. Не скелет в шкафу, а нечто пострашнее. Но это нечто не может быть верифицировано в семантическом плане. Ибо можно прояснить сущий смысл, но как просветить кромешную тьму? Перед явлением света тьма исчезает в тайне своего происхождения. Ее не уничтожить, поскольку она сама и есть ничтожество. Тайна сия велика есть.

Знание о тайне и знание тайны — это разные вещи. Но с чего-то надо же начинать...

Если мы не поймем, что произошло с нами сто лет назад, то и не заметим, как произойдет то же самое.

Тень человека в пустыне дней

Евгений Чижов. «Перевод с подстрочника»

Радостью от хорошей книги хроническому книгочею хочется поделиться с ближними, — особенно если широкому кругу читателей автор известен меньше, чем заслуживает. Однако этого автора я бы не стал ре-

⁴ Александр Эткинд. «Хлыст».

комендовать всем и каждому, а советовал бы только тем, чей вкус не испорчен бестселлерами.

Евгений Чижов — литератор среднего поколения, сформировавшегося вместе с новой эпохой. Он получил признание критиков как автор двух романов, чьи заглавия в семантическом смысле являются концептами: «Персонаж без роли» и «Темное прошлое человека будущего». Новый роман, «Перевод с подстрочника», убедительно доказывает, что у автора серьезные литературные намерения. Это хорошо написанная книга, что само по себе необходимая и достаточная причина чтения. Это хорошо темперированная проза, в которой нетерпеливость чтения поглощается неторопливостью повествования.

Критическая традиция требует предупредить читателя на входе в предложенный текст: какого рода эта книга? из какого она ряда? Мне кажется, сравнительными ориентирами здесь могут послужить две великие книги XX века — «Комедианты» Грэма Грина и «Дервиш и смерть» Меши Селимовича: притчи о том, как опасно для жизни, не уверенной в своих жизненных принципах, пытаться пройти незамеченной по нейтральной полосе между властью и совестью.

Фабула романа проста. Главный герой, московский поэт Олег Печигин, подражается перевести на русский язык стихи национального лидера одной среднеазиатской страны, — некогда бывшей советской республикой, а ныне ставшей феодальной деспотией. Чтобы не задеть ни одно из реальных государств, страна названа Коштырбастаном. Многострада́льный и малоизвестный поэт покупается на посулы старого друга, по национальности коштыра, и, рассчитывая на перемену участи, перебирается из российской эклектики в восточную экзотику: вживается в чужую жизнь и находит в ней свою смерть. Вот, собственно, и всё.

(Хотел автор или нет, но в подтекст его романа просачивается некрасивая история о том, как один известный поэт, человек широких взглядов, подрядился за хороший гонорар перевести на русский стихи туркменского тирана, — из чего вышел скандал, кончившийся гибелью другого известного поэта, оказавшегося слишком совестливым.)

Герой романа сродни базовым образам нашей литературы. Лишний человек, подверженный известным слабостям русской интеллигенции: пьянству и самоедству. Образ амбивалентен; в различных обстоятельствах места и времени герой способен как на поступок, так и на проступок. Он то такой, то этакий. А пока ни к чему не призван или не принужден, то вовсе никакой. Живущий кое-как в ожидании лучшего. О, эта вечная русская тоска о лучшей жизни!

По ходу сюжета герой проходит испытание любовью. Или, точнее сказать, не проходит его. Две женщины — как две надежды: одна, москов-

ская шалава, стильная и вольная муза житейского соблазна, обольщает и обманывает; другая, коштырская наложница, покорная и верная гурия райского миража, не оправдывается и не сбывается.

Ориентализм без романтизма порабощает разум наркотической зависимостью от превратностей судьбы: *кисмет* в исламе — проекция русского *авось* в дурную бесконечность. Иван-дурак, попавший в сказку из «Тысячи и одной ночи», не может полагаться на то, что дуракам всегда везет. И начинает понимать, что в этом сюжете ему несдобровать. Для того, кто сдуру сел не в свою арбу, выбор невелик: или моральная гибель, или физическая. Выводы подведены в древней мудрости: кувшин падает на камень — горе кувшину; камень падает на кувшин — горе кувшину.

Корни альтернативы уходят в непроглядную тьму веков. Власть обольщает поэтов прелестью славы и облагает податью лести. Для нас актуален опыт сталинской эпохи. В период культа личности служенье муз стало похоже на занятие проституцией. Трагический гений эпохи, ставший жертвой режима, делил явления искусства на разрешенные и написанные без разрешения: «Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух».⁵ Дело, на которое подрядился герой романа, — перевести вирши тирана из национального масштаба в интернациональный. Перевести с подстрочника, заменив в подтексте спертый дух застенка ворованным воздухом.

Поэт понимает, чем рискует; он видит, что из окружающей его действительности торчат ржавые гвозди, которыми сказка приколочена к жизни — намертво по живому. Но очень хочется попасть в случай... Вранье — как отравленное варенье, и лесть — как мед, к которому подмешан опиум. В резоны разума вкрадывается тайное сладострастие, свойственное отречению от своей воли. Затаенный запах животного страха перекрывается пряным ароматом поощряемого порока. Так отвратительно и неотвратимо дурманят разум наркотические миазмы цветов зла.

Проблема усложняется тем, что стихи, написанные тираном (или приписанные ему), в подстрочнике, данном для перевода, обладают художественной выразительностью и содержательностью. (В текст книги вплетены авторские верлибры, открывающие выход его поэтическому началу.) Вот, хотя бы, строки из касыды о пустыне: «...неисчислимое множество горячего песка, пересыпаемого ладонями горизонтов из пустого в порожнее и обратно в пустое». И еще: «...под голой луной тень человека достовернее его самого». Признаться, пробирает...

Диктатор Коштырбастана именуется Народный Вожатый. Возникают опасные ассоциации... Когда по отношению к президенту РФ риториче-

⁵ Осип Мандельштам. «Четвертая проза».

ское выражение *национальный лидер* в семантике официоза приобретает ритуальный характер, мне как либералу становится как-то не по себе. Это, конечно, еще не культ, но — культивирование. Каким образом авторитарная власть превращается в авторитарную? Даже политологи не определяют момент фазового перехода системы, а уж обыватели тем более. Очевидно одно: когда *соборная лигность* воплощается в образе вождя, народ *обезлигивается*.

Харизматический тиран внушает народу сакральный страх, который в гравитационном поле власти преображается в священный ужас; он не просто правитель, он — повелитель: в нем находят олицетворение гений места и дух времени. Всё это было бы смешно, когда бы не было так страшно. Давно ли нашей родиной владело такое же наваждение, воплощенное в образах вождей? Как сказал главный поэт эпохи, которая из царства свободы превратилась в лагерную зону, — «Я бы жизнь свою, глупея от восторга, за одно б его дыханье отдал». ⁶ Поэт вызывался быть добровольным донором Ленина; Сталин же всякое дыхание, даже хвалящее его, считал ворованным у него воздухом.

Книга Чижова разрывает порочный круг патриотической риторики — и переводит проблему выбора на другой уровень: внутренний. Зыбкая граница между Европой и Азией проходит через загадочную русскую душу. Как говорится исстари (со времени освобождения от татаро-монгольского ига): поскребешь русского — обнаружишь татарина. А ежели по Чижову — сокрытого коштыра; так яснее для морали. Ох уж эта наша евразийская природа! Вольность и сервильность явлены в русском менталитете нераздельно и неслиянно.

* * *

Нельзя сказать, что сарказм автора нарочит. Вероятность культа личности в нашем народе, много раз преданном и проданном оптом и в розницу, по ходу времени сходит на нет, — но никогда не исчезает в нетях. Слишком уж велик соблазн державного величия, гарантом которого явится личность самодержца. Если внимательно присмотреться к грезам евразийцев, одержимых образами грядущего, то в смутном видении Китеж-града проступают контуры не Третьего Рима, а Второй Орды.

Действительность есть зона компромисса между добром и злом, границы которой не обозначены. Захочешь обойти житейские трудности, пойдешь по кривой дорожке — и не заметишь, как зайдешь слишком далеко. И обратной дороги нет...

⁶ Владимир Маяковский. «Владимир Ильич Ленин».

С чего начинается сдача личности? Старая притча о куче зерна: одно зерно — куча? нет! а два? а три? когда число зерен начинает быть достаточным, чтобы считаться кучей? С невинностью всё понятно, а вот как утрачивается порядочность... Без компромисса с действительностью человеку ничего существенного в жизни сделать нельзя, однако соглашательство — дело опасное. Одна уступка, другая, третья... спохватился, хватился себя — ан поздно! Был человек, да весь вышел...

Пожалуй, ничто не показывает трагичность человеческой участи с такой наглядностью, как судьба поэта. Альтернатива XX века со смертельной ясностью выражена в жизненном пути двух великих русских поэтов, Владимира Маяковского и Осипа Мандельштама. Один, революцией мобилизованный и призванный, чтобы оправдать свое призвание, приравнял перо к штыку и наступал на горло собственной песне. Другой, заблудившийся в небе, чтобы не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, ни кровавых костей в колесе, спасался от века юродством и дышал ворованным воздухом. Погибли оба. Мандельштама приговорил режим. Маяковский осудил себя сам.

Когда смысл жизни оказывается между молотом власти и наковальной совести, возможность выбора сжимается как шагреневая кожа.

Мифотворчество тоталитаризма — это ритуальное жертвоприношение: жрецы культа одурманивают лучшие надежды смутными грезами и отдают на разращение и растерзание кровавому кумиру.

* * *

Кто верит в человека, разочаровывается в людях. Такой вот парадокс. Образ Божий, данный как видовой идеал, в отдельных индивидах проявляется страшно искаженным. В подлунном мире тень человека достовернее его сути. Александр Пушкин так суммировал выводы мизантропии:

На всех стихиях человек —
Тиран, предатель или узник.⁷

В новом времени ему вторит Иосиф Бродский:

Скучно жить, мой Евгений. Куда ни странствуй,
всюду жестокость и тупость воскликнут: «Здравствуй,
вот и мы!» Лень загонять в стихи их.
Как сказано у поэта, «на всех стихиях...».

⁷ Александр Пушкин. «К Вяземскому».

Далеко же видел, сидя в родных болотах!
От себя добавлю: на всех широтах.⁸

Кстати... Или, скорее, некстати. Стихотворение Иосифа Бродского адресовано его старому другу, поэту Евгению Рейну. Тому самому, кто подряжался переводить с подстрочника вирши Туркмен-баши. Такая вот ирония истории...

Дорога в один конец, или Рок в личине долга

Леонид Юзефович. «Зимняя дорога»

Чем глубже в землю уходят кости павших за Родину, тем выше поднимается знамя Победы в Великой Отечественной войне. Величие подвига обусловлено масштабом события, возрастающим в контексте современной истории. В последнее время в проекте укрепления державного духа особое внимание уделяется также героике Первой мировой, прежде целенаправленно вытравляемой партийными идеологами из народной памяти. Восполнение пробелов необходимо для восстановления непрерывности исторического времени. Недоумение вызывает другое: из дискуссионного поля постепенно выводится самый сложный комплекс трагических событий, в отечественной историографии обобщенный понятием *Гражданская война*. Комиссары в пыльных шлемах и белогвардейцы в лихо заломленных фуражках, герои и жертвы легендарных сражений, отступают на периферию информационного пространства, теряясь в тумане забвения. Это неправильно. Это несправедливо. И это неразумно. Устранение из оперативной памяти травматического синдрома, связанного с расколом национального единства, расслабляет нашу настороженность к идеологии — и повышает подверженность соблазну разобрататься с внутренними врагами, руководствуясь интуитивным понятием правды. Ничего хорошего из этого выйти не может. Как бы ни были люди злы друг на друга, народ не делится на правых и виноватых. Правда, как она проявляется в эмпирике, не виза в Царство Божие на земле, а приманка в ловушке, поставленной дьяволом на людей.

Пожалуй, единственный современный литератор, для которого тема гражданской войны едва ли не профильная, это Леонид Юзефович — автор замечательных книг и лауреат престижных премий. По базовому образованию он историк, а по призванию — прозаик. Если книга-исследование «Путь посла» свидетельствует о его научной компетенции, то его исторические детективы демонстрируют незаурядное литературное мас-

⁸ Иосиф Бродский. «К Евгению».

терство. Что характерно: каждая новая книга пишется им иначе, чем прежние. Если роман «Журавли и карлики» (премия «Большая книга», 2009) полифоничен во всех смыслах бахтинского термина, то новая книга «Зимняя дорога» (2015) — стилистический монолит, явление редкой литературной цельности.

* * *

Леонид Юзефович — интеллектуал, но продуманная целесообразность его прозы направлена не к сложности, а к ясности. В диалоге с Захаром Прилепиным, представлявшим его книги как философские тексты, Леонид Юзефович с твердой сдержанностью отклонил такое истолкование: «Я не мыслитель, я — повествователь». Наверное, тут он не вполне прав. В увлекательных сюжетах его книг отложилась авторская историософия, нераздельно и неслиянно сочетающая фатализм с мужеством. История — дорога в один конец, и тем, кто идет по ней невесть откуда Бог весть куда, дано одно непреложное правило: дорогу осилит идущий. Историческая проза Леонида Юзефовича, помимо непосредственного удовольствия от чтения, имеет позитивное побочное действие — она прививает недоверие к идеологии. Особенно последовательно идейные наваждения общественного сознания развеяны в книге, о которой речь.

Документальный роман (это парадоксально точное обозначение жанра) «Зимняя дорога», вышедший в издательстве АСТ, рассказывает об одном из последних эпизодов Гражданской войны — героическом и трагическом походе Сибирской добровольческой дружины из Приморья в Якутию в 1922—1923 годах, окончившемся поражением и пленением белых добровольцев. В центре повествования противостояние двух эпических героев — белого генерала Анатолия Пепеляева и красного командира Ивана Строда. Как сказал автор в интервью журналу «Огонек», — «это рассказ о борьбе двух родственных душ, двух идеалистов, судьбой разведенных по разным лагерям, но сумевших сохранить братство в нечеловеческих условиях войны на Крайнем Севере. Эти двое — фигуры настолько яркие, что легко могут показаться продуктом художественного вымысла. Тем не менее, никакого вымысла в моей книге нет». Это так: каждая подробность фантазмагии, составляющей содержание романа, подтверждена надежными свидетельствами.

* * *

За что сражались герои, превратившие жизнь в борьбу? Общественные идеалы белого генерала Пепеляева были мотивированы идеями

русского народничества, опасно соблазнительными для носителей национальной идеи. Ах, как жадно впитывали молодые идеалисты, настроенные пострадать за правое дело, отравленную прелесть высокопарного агитпропа! Горе от ума становилось памятью сердца. «Иди в огонь за честь отчизны, / За убежденье, за любовь... / Иди и гибни безупречно. / Умрешь не даром: дело прочно, / Когда под ним струится кровь...».⁹ Ох уж эта несносная истеричка, муза мести и печали, продиктовавшая поэту-популисту эти скверные вирши! Ведь и красный комиссар Иван Строд, анархист и авантюрист, с детства впитал то же коварное вранье. Всякое кровопролитие по ходу Гражданской войны оправдывалось грядущим торжеством справедливости. Два противоборствующих дискурса сошлись в жестокой схватке за действительность, и сторонники каждого из них, не щадя себя, уничтожали противников, заливая кровью идеи, положенные в фундамент утопии.

По своим неясным намерениям Пепеляев, возглавивший поход на Север, склонялся к соблазнам сибирского областничества, колеблющегося между патриотизмом и сепаратизмом. «Всё это взывало больше к уму, чем к сердцу, но Пепеляев, по-русски легко умевший переводить идеи в эмоции, всей душой отдался надежде, что возрождение России пойдет с востока на запад». К тонкому и точному замечанию Юзефовича о переводе идей в эмоции можно добавить, что столь же верно и обратное: к несчастью нашему, харизматические вожди русского раскола умели концентрированные эмоции выдавать за консолидированные идеи. Наверное, никто из героев Гражданской войны не представлял себе с полной ясностью, за что он проливает кровь — свою и чужую. «Я полагал, — признавался Пепеляев, — что сам народ из глубины своей выдвинет те силы, которые создадут действительно народную власть». Для кредо этого маловато. Столь же смутны были политические идеи анархиста Строда. Сложись обстоятельства иначе, Пепеляев мог оказаться на стороне красных комиссаров, а Строд поддаться смертельному обаянию белогвардейской романтики. Ибо их общественные идеалы, странным образом сходные, были возвышенными, но невразумительными. Не случайно их жизненные установки к концу жизни словно перевернулись: Строд, удрученный свирепостью сталинских репрессий, мечтает убить вождя, а Пепеляев, просяев опыт разочарований через сито тюремной решетки, склоняется к посулам советской власти. Ирония судьбы в том, что оба героя, белый и красный, в годы большого террора с безразличной безжалостностью осуждены советским судом. И в равной мере оправданы судом истории; они антагонисты, но не антиподы.

⁹ Николай Некрасов. «Поэт и гражданин».

Решающим моментом похода и центральным эпизодом романа стала осада селения из пяти бревенчатых жилищ со смешным на русский слух названием Сасыл-Сысы. Красный отряд стал на пути белого отряда, наступавшего на Якутск. Две долгих недели отчаявшиеся люди отстреливались от ожесточившихся людей — через бруствер, устроенный из мертвых тел, выложенных штабелем вперемешку с пластами замерзшего навоза. Разрывные пули вонзались в эту жуткую ограду, и вышибленные мозги летели на осажденных вперемешку с разметанными фекалиями... Если бы автор романа сочинил этот эпизод, его обвинили бы в цинизме и садизме. Но — так было. День за днем, ночь за ночью осажденные на пределе сил удерживали позицию — и выдерживали характер, отказываясь сдаться. Раненые отлеживались в хлеву, и вши кишели на их гноящихся ранах. Убитые ложились на укрепление разбитого бруствера: мертвые прикрывали живых от смерти. Потрясенное открывшейся картиной, наше сочувствие склоняется на сторону красных. «Кажется, осажденные противостоят не столько другим людям, сколько хаосу и смерти, и мы не потому желаем им выстоять, что они во всем правы, а потому, что они всего лишены. Чем труднее им оставаться людьми, тем сильнее наша вера в их человечность. Нам хочется думать, что внутри этого магического круга все равны, объединены братской любовью и, как сироты, жмутся друг к другу в поисках последнего оставшегося в мире тепла». Если нужно найти психологическое обоснование моральной победы советской власти над белым делом — лучше не придумайшь.

Другой вопрос — что принесла эта победа народу и стране. То, что вышло в итоге, оказалось совсем не тем, за что люди убивали друг друга и гибли сами. Как всегда в истории, начиная с осады Трои, реальные итоги войны не совпадают с заявленными целями. Вот как интерпретирует фабулу романа в одном из интервью сам автор: «Стоит возвести эту ситуацию к историческим архетипам, к мифу, чтобы почувствовать бессилие человека перед ходом истории, перед фатумом. Ахилла и Гектора вел Рок. Но и Пепеляева, и Строда вел Рок в личине долга. Оставим им доблесть и благородство, забудем их заблуждения. Давайте смотреть на историю как на эпическую драму, а не как на происки каких-то злодеев, с которыми хорошие люди вовремя не поборолись. Последнее попросту непродуктивно. Судить должны современники, потомки — понимать». Попробуем найти понимание...

В чем урок этой истории? — задастся дотошный читатель детским вопросом, надеясь на вывод в конце текста как на выход из сомнений. Но простого ответа он не получит. «Мне трудно объяснить, для чего я написал эту книгу», — признается автор на последней странице. Но несколько ранее он проговаривается фразой, которую можно счесть свернутой

историософской концепцией: «То, чего не удастся избежать, кажется потом неизбежным — так проще оправдать собственные ошибки». В какой-то мере эта мысль опирается на сходное суждение Шпенглера: «История — это образ, при помощи которого воображение человека стремится почерпнуть понимание живого бытия мира по отношению к собственной жизни — и таким способом придать ей углубленную действительность».¹⁰ Живое бытие умирает в идейной бедности, преобразуется в памяти и воскрешается в истории.

В чем мораль этой притчи? В горестном недоумении, остающемся в итоге. Мы так и не знаем, как нам обустроить Россию. Сто лет спустя для нас так же актуальна горькая правда Виктора Пепеляева (старшего брата героя этой книги), расстрелянного вместе с Колчаком: «Российские либералы слишком мало любят родину, а русские патриоты слишком дешево ценят свободу». Это было сказано о тогдашних антагонистах, левых и правых политических и общественных деятелях. С тех пор всё так переменялось и перепуталось, что уже не понять, кто есть кто. Те, что пошли налево, зашли слишком далеко, а правых по нашей жизни вообще нет — все, так или иначе, виноватые. И тот, кто дорожит и родиной, и свободой, обречен на трагическое противоречие.

Согласно Гегелю, суть трагедии отнюдь не в конфликте правды с неправдой. Трагическая коллизия возникает тогда, когда в схватке сходятся антагонисты, обладающие разными частями правды, — чтобы отнять у противника его часть и утвердить всю правду за собой. Что заведомо невозможно. Трагедия в том, что потерпевший поражение теряет всё, — но и одержавший победу не получает того, на что рассчитывал. В итоге Гражданской войны правды меньше, чем в начале.

Этим постулатом можно, наконец, завершить затянувшиеся рассуждения, — скорее запутавшие, чем прояснившие тему романа. Вместо назидательного вывода я бы присобачил к концу рецензии художественный образ — воображаемый памятник последним героям Гражданской войны. Я вижу его как мысленный монумент, воздвигнутый на полюсе недоступности, — там, где кончается дорога никуда. Посреди нескончаемой ночи на постаменте из глыбы замороженной крови стоят две статуи из прозрачного льда: два благородных врага соединены в смертельном объятии. Пурга отшлифовала скульптуры настолько, что они уже неотличимы друг от друга. Вокруг них белое безмолвие, под ними вечная мерзлота, над ними небесная бездна. И полярные совы, словно голодные ангелы, высматривающие чего пожрать, садятся на головы героев, роняя к их ногам помет, замерзающий на лету...

¹⁰ Освальд Шпенглер. «Закат Европы».

Пожалуй, последняя подробность — единственное, что могло бы понравиться в этой рецензии автору романа, чурающемуся нарочитого красноречия. Иносказание есть изысканная манера умолчания. Реальная история порой превосходит наше воображение, и то, что не вмещается в общепринятые понятия, обрабатывается риторикой до утраты сути — и пустое знание вытесняется из общественного сознания. Когда же старое зло, заговоренное риторикой, вознамерится вернуться в современность, мы можем его не узнать... Книга Леонида Юзефовича вообще-то не об этом. Но и об этом тоже.